

Помяловский Николай Герасимович

Очерки бурсы

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.3
ББК 84-4
П55

П55 **Помяловский Николай Герасимович**
Очерки бursы / Помяловский Николай Герасимович – М.: Книга по Требованию, 2012. – 120 с.

ISBN 978-5-4241-1441-0

Николай Герасимович Помяловский провел детство в духовном училище и в своем самом известном произведении — «Очерках бursы» — описал жизнь таких же школяров-бурсаков, каким был сам: шалости и хулиганские выходки, ссоры и веселье, невыполненные уроки и строгих учителей. Писатель остро поставил проблему воспитания, с большим критическим пафосом заклеил бездушные, применение телесных наказаний, консерватизм — черты, характерные не только для духовных учебных заведений, но и для всей русской жизни в условиях самодержавия и деспотизма. Прочитав эту книгу, вы убедитесь: школьная жизнь с XIX века почти не изменилась.

ISBN 978-5-4241-1441-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Николай Герасимович
Помяловский
Очерки бursы

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В БУРСЕ. ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

Класс кончился. Дети играют.

Огромная комната, вмещающая в себе второуездный класс училища, носит характер казенщины, выражающей полное отсутствие домовитости и приюта. Стены с промерзшими насквозь углами грязны – в чернобурых полосах и пятнах, в плесени и ржавчине; потолок подперт деревянными столбами, потому что он давно погнулся и без подпорок грозил падением; пол в зимнее время посыпался песком либо опилками: иначе на нем была бы постоянная грязь и слякоть от снега, приносимого учениками на сапогах с улицы. От задней стены идут *парты* (учебные столы); у передней стены, между окнами, стол и стул для учителя; вправо от него – черная учебная доска; влево, в углу у дверей, на табурете – ведро воды для жаждущих; в противоположном углу – печка; между печкой и дверями вешалка, на спицах которой висит целый ряд тряпичный: шинели, шубы, халаты, накидки разного рода, все перешитое из матерних капотов и отцовских подрясников, – нагольное, крытое сукном, шерстяное и тиковое; на всем этом виднеются ключья ваты и дыры, и много в том месте злачнем и прохладном паразитов, поедающих, тело плохо кормленного бурсака. В пять окон, с пузырьчатыми и зеленоватыми стеклами, пробивается мало свету. Вонь и копоть в классе; воздух мозглый, какой-то прогорклый, сырой и холодный.

Мы берем училище в то время, когда кончался *период насильственного образования* и начинал действовать *закон великовозрастия*. Были года – давно они прошли, – когда не только малолетних, но и бородатых детей по приказанию начальства насильно гнали из деревень, часто с дьяческих и пономарских мест, для научения их в бурсе письму, чтению, счету и церковному уставу. Некоторые были обручены своим невестам и сладостно мечтали о медовом месяце, как нагрянула гроза и повенчала их с Пожарским, Меморским, псалтырем и обиходом церковного пения, познакомила с *майскими* (розгами), проморила голодом и холодом. В те времена и в приходском классе большинство было взрослых, а о других классах, особенно семинарских, и говорить нечего. Достаточно пожилых долго не держали, а поучив грамоте года *три-четыре*, отпускали *дьячить*; а ученики помоложе и поусерднее к науке лет под тридцать, часто с лишком, достигали *богословского* курса (старшего класса семинарии). Родные с плачем, воем и причитаньями отправляли своих птенцов в науку; птенцы с глубокой ненавистью и отвращением к месту образования возвращались домой. Но это было очень давно.

Время перешло. В общество мало-помалу проникло сознание – не пользы науки, а неизбежности ее. Надо было пройти хоть приходское ученье, чтобы иметь право даже на пономарское место в деревне. Отцы сами везли детей в школу, парты замещались быстро, число учеников увеличивалось и наконец доросло до того, что не помещалось в училище. Тогда изобрели знаменитый *закон великовозрастия*. Отцы не все еще оставили привычку отдавать в науку своих детей взрослыми и нередко привозили шестнадцатилетних парней. Проучившись в четырех классах училища по два года, такие делались *великовозрастными*; эту причину отмечали в *титулке* ученика (в аттестате) и отправляли *за ворота*

(исключали). В училище было до пятисот учеников; из них ежегодно получали титулку человек сто и более; на смену прибывала новая масса из деревень (большинство) и городов, а через год отправлялась *за ворота* новая сотня. Получившие титулку делались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами; но наполовину шатались без определенных занятий по епархии, не зная, куда деться со своими титулками, и не раз пронеслась грозная весть, что всех безместных будут верстать в солдаты. Теперь понятно, каким образом поддерживался училищный комплект, и понятно, отчего это в темном и грязном классе мы встречаем наполовину сильно взрослых.

На дворе слякоть и резкий ветер. Ученики и не думают идти на двор; с первого взгляда заметно, что их в огромном классе более ста человек. Какое разнохарактерное население класса, какая смесь одежд и лиц!.. Есть двадцатичетырехгодовалые, есть и двенадцати лет. Ученики раздробились на множество кучек; идут игры – оригинальные, как и все оригинально в бурсе; некоторые ходят в одиночку, некоторые спят, несмотря на шум, не только на полу, но и по партам, над головами товарищей. Стон стоит в классе от голосов.

Большая часть лиц, которые встретятся в нашем очерке, будут носить те клички, которыми нарекли их в товариществе, например, *Митаха, Элпах, Тавля, Шестихуха Чабря, Хорь, Плюнь, Омега, Еппа-Кокста, Катька* и т.п., но этого не можем сделать с Семеновым: бурсаки дали ему прозвище, какого не пропустит никакая цензура – крайне неприличное.

Семенов был мальчик хорошенький, лет шестнадцати. Сын городского священника, он держит себя прилично, одет чистенько; сразу видно, что училище не успело стереть с него окончательно следов домашней жизни. Семенов чувствует, что он *городской*, а на городских товарищество смотрело презрительно, называло бабами; они любят маменек да маменькины булочки и пряники, не умеют драться, трусят розги, народ бессильный и состоящий под покровительством начальства. Для товарищества редкий городской составлял исключение из этого правила. Странно было лицо у Семенова – никак не разгадать его: грустно и в то же время хитро; боязнь к товарищам смешана с затаенной ненавистью. Ему теперь скучно, и он, шатаясь из угла в угол, не знает, чем развлечься. Он усиливается удержать себя вдали от товарищей, в одиночку; но все составили партии, играют в разные игры, поют песни, разговаривают; и ему захотелось разделить с кем-нибудь досуг свой. Он подошел к играющим в *камешки* и робко проговорил:

– Братцы, примите меня.

– Гусь свинье не товарищ, – отвечали ему.

– Этого не хочешь ли? – проговорил другой, подставив под самый нос его сытый свой кукиш с большим грязным ногтем на большом пальце...

– Пока по шее не попало, убирайся! – прибавил третий.

Семенов отошел уныло в сторону; но на него не произвели особенного впечатления слова товарищей. Он точно давно привык и стерпелся с грубым обращением.

– Господа, *с пылу горячих!*

– Кому, Тавля? – отозвались голоса.

– Гороблагодатскому.

Семенов вместе с другими направился к столу, около которого тоже шла игра

в камешки между двумя великовозрастными, и притом Гороблагодатский был второй силой в классе, а Тавля – четвертый. Лица, окружившие игроков, приятно осклаблялись, ожидая увеселительного зрелища.

– Ну! – сказал Тавля.

Гороблагодатский положил на стол руку, растопылив на ней пальцы. Тавля разместил на руке его пять небольших камней самым неудобным образом.

– Валяй! – сказал он.

Тот вскинул кверху камни и поймал из них только три.

– За два! – подхватили окружающие.

– Пиши, брат, к родителям письма, – прибавил Тавля с своей стороны.

Гороблагодатский, ничего не отвечая, положил левую руку на стол. Тавля кинул камень в воздух, во время его полета успел со страшной силой щипнуть руку Гороблагодатского и опять поймал камень.

Толпа захохотала.

Игра в камешки, вероятно, всем известна, но в училище она имела оригинальные дополнения: здесь она *со щипчиками*, и притом *щипчиками холодненькими, тепленькими, горяченькими и с пылу горячими*, которые доставались проигравшему. Без щипчиков играла самая молодая, самая зеленая *приходчина*, а при щипчиках с пылу горячих присутствует теперь читатель.

Между тем *матка* (главный камень) летала в воздухе, а Тавля своими, здоровенными руками скручивал кожу на руке партнера и дергал ее с ожесточением. После двадцати щипчиков рука сильно покраснела; после пятидесяти появилась синева.

– Любо ли? – спрашивает Тавля, заглядывая ему в глаза.

Противник молчит.

– Любо ли?

Опять ответа нет.

– Взьерепень, взьерепень его! – говорят окружающие.

– Заплачь, так прощу! – говорит Тавля.

– Смотри, чтобы самому плакать не пришлось! – ответил Гороблагодатский. Здоровый детина выносил сильную боль в руке, но только мрачный взгляд обнаруживал, что он чувствует.

– Что, дядя, больно?

Тавля дал такого щипка, что Гороблагодатский невольно стиснул зубы. Все захохотали.

– Живота аль смерти?

Сильный щипок повторился при хохоте зрителей. В этом хохоте не слышалось злорадованья или неприязненной насмешки; товарищи видели во всем только комическую сторону. Один лишь Семенов улыбался как-то особенно; его удовольствие не походило на удовольствие других, и действительно, он затаенно повторял в душе:

«Так и надо, так и надо!».

Дошло до ста...

– Ну, черт с тобой! – заключил наконец Тавля.

Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю и решил на игру с ним в надежде остаться победителем и задать ему более, чем с пылу горячих. Оба они были *второкурсные*. Каждое учебное заведение имеет свои предания. Аборигены

училища, насильно посаженные за книгу, образовали из себя *товарищество*, которое стало во враждебные отношения к *начальству* и завещало своим потомкам ненависть к нему. Начальство, со своей стороны, также стало во враждебные отношения к товариществу и, чтобы сдерживать его в границах *училищной инструкции* (кодекс правил для поведения и учения), изобрело целую бурсацко-бюрократическую систему. Зная, что всякое царство, раздельшееся на ся, не устоит, оно отдало одних товарищей под власть другим, желая внести в среду их междуусобие. Такими властями были: *старшие спальные* – из второуездных; *старшие дежурные* – из спальных, справляя недельную очередь по всему училищу; *цензора* – надзирающие за поведением в классе; *авдитора* – выслушивающие по утрам уроки и отмечающие баллы в *нотатах* (особой тетради для баллов); наконец, последняя власть и едва ли не самая страшная – *секундатор*, ученик, который, по приказанию учителя, сек своих товарищей. Все эти власти выбирались из *второкурсных*. Ученик, просидев за партою два года, за леность и малоуспешность оставался в том же классе еще на два: этот и назывался второкурсным. Очень естественно, что такой ученик что-нибудь да выносил из уроков учителей и потому больше знал, чем первокурсный; это бралось начальством во внимание, и расчет был верен: второкурсные, желая удержать власть в руках, учились усердно, и большинство из них заняло первые места, потому что не бездарность, а лень делала их второкурсными. Вот основы училищной бюрократии, при помощи которой начальство хотело разрушить товарищество.

Изо всего этого вышла одна гадость. Ко второкурсным было полное доверие начальства; жалоба на них была оскорблением для смотрителя и инспектора; деспотизм их развился в высшей степени, и ничто так не оподляет дух учебного заведения, как власть товарища над товарищем; цензора, авдитора, старшие и секундаторы получили полную возможность делать что угодно. Цензор был чем-то вроде царька в своем царстве, авдитора составляли придворный штат, а второкурсные – аристократию. Притом второкурсные, просидев лишних два года, понятно, делались взрослыми, а потому и физическая сила была на их стороне. Наконец, по той же причине они знали обряды и формы своего класса, характер учителей, умение надувать их. Новичок без помощи второкурсного не умел ступить шагу. Начальство, вводя такой деспотизм, думало, что оно поселит в товариществе ябеду и донос. Случилось совсем не то: при училищном *второкурсии* только народились в товариществе такие гадины, отвратительные гадины, как Тавля, и такие дикие характеры, как Гороблагодатский. Они ненавидели друг друга, потому что воспользовались данною им властью для разных целей. Тавлю ненавидели и другие силачи – Лашезин и Бенелявдов; его все ненавидели и презирали.

Тавля, с качестве второкурсного авдитора, притом в качестве силача, был нестерпимый взяточник, драл с подчиненных деньгами, булкой, порциями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля был ростовщик. Рост в училище, при нелепом его педагогическом устройстве, был бессовестен, нагл и жесток. В таких размерах он нигде и никогда не был и не будет. Вовсе не редкость, а напротив – норма, когда *десять копеек*, взятые на *недельный срок*, оплачивались *пятнадцатью копейками*, то есть, по общепринятому займу на год, это выйдет *двадцать пять раз капитал на капитал*. При этом должно заметить, если должник не приносил, по условию, долгу через неделю, то через следующую

неделю он обязал был принести вместо пятнадцати двадцать копеек. Такой рост неизвестно с каких пор вошел в обычай бурсы; не один Тавля живодеерничал; он был только виднее других. Необходимость в займе всегда существовала. Цензор или аудитор требовали взятки; не дать — беда, а денег нет, вот и идет первокурсный к своему же товарищу, но ростовщику, согласен на какой угодно процент, лишь бы избавиться от презрительных взглядов розгачей. Кредит обыкновенно гарантируется кулаком либо всегдашнею возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на рост только второкурсники. Надо заметить, что большая часть тягостей в этом отношении падала на городских, потому что они каждое воскресенье ходили домой и приносили с собою деньжонки; поэтому на городских налегали все, хотя и из них считался уже богачом, кто получал на неделю какой-нибудь гривенник. Поэтому многие были в неоплатном долгу и нередко состояли в бегах. Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли проявилась вся при деспотизме второкурсия. Он жил барином, никого знать не хотел; ему писались записки и вокабулы, по которым он учился; сам не встанет для того, чтобы напиться воды, а кричит: «Эй, Катька, пить!» Подавительные чесали ему пятки, а не то велит взять перочинный нож и скоблить ему между волосами в голове, очищая эту поганую голову от перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлял говорить ему сказки, да непременно страшные, а не страшно, так отдует; да и чем только при глубоком разврате Тавли не служили для него подавительные? При всем этом он был жесток с теми, кто служил ему. "Хочешь, говорит, Катька, *рябчика съесть*?" — и начинает щипать подчиненного за волоса. «Тебя маменька вот так гладила по головке; стой же, я покажу, как папенька гладит»; после этого, уставив палец против *шерсти* (волос), он плотно проводил им от начала лба и до конца затылка. «Видал ли ты Москву?» — спрашивает он ученика и прикладывает свои широкие, потные, скверные ладони к ушам подавительного, сжимает между ними голову его и потом, приподняв на воздух, говорит: «Теперь видишь ли Москву? вон она!». Он загигал своим товарищам *салазки*, то есть положит ученика на сиденье парты лицом вверх, поднимает его ноги и гнет их к лицу. Плюнуть в лицо товарищу, ударить его и всячески избить составляло потребность его души. Известно было товарищам, что он однажды добыл из гнезда неоперившихся воробьиных птенцов, взял за тонкие ноги и разорвал воробьев на части. Меньшинство его ненавидело; большинство боялось и ненавидело.

Гороблагодатский был сильная, но дикая натура. Второкурсие отразилось на нем совершенно иначе, нежели на Тавле. Он был положительным доказательством, что начальство ошиблось в расчете, вводя деспотизм ученика над учеником и через то желая внести в товарищество ябеду и донос. Товарищество в самом деспотизме нашло себе опору. Второкурсные сделались хранителями преданий и, получив по наследству ненависть к начальству, употребляли власть, им данную, на то, чтобы гадить тому же начальству. Цензор, аудитор, секундатор стали на стороне товарищества, а во главе их всех, в тот курс, который описываем мы, стоял Гороблагодатский. Пьянство, нюханье табаку, самовластные отлучки из училища, драки и шум, разные нелепые игры — все это было запрещено начальством, и все это нарушалось товариществом. Нелепая долбня и спартанские наказания ожесточали учеников, и никого они так не ожесточили, как Гороблагодатского.

Он был *отпетый*.

Отпетый характеристичен и по внутреннему и по внешнему складу. Он ходит, заломив козырь на шапке, руки накрест, правым плечом вперед, с отважным перевалом с ноги на ногу; вся его фигура так и говорит: «хочешь, тресну в рожу? думаешь, не посмею!» – редко дает кому дорогу, обойдет начальника далеко, чтобы только избежать поклона. Гороблагодатский поддерживает самое неприличное дело, если оно относится ко вреду высших властей, *отмачивает* дикие штуки. Он ревнитель старины и преданий, стоит за свободу и вольность бурсака и, если нужно будет, не пощадит для этого священного дела ни репутации, ни титулки. Он основной столп товарищества. Бурсаки с такими доблестями обыкновенно звались отпетыми. Но отпетые были разного рода: одни из них назывались *благими*: это были дураковатые господа, но держащиеся тех же принципов; другие назывались *отчвальными*: эти были вообще не глупы, но лентяи бесшабашные; Гороблагодатский же был отпетый *башка*: он шел в первых по учению и в последних по поведению. Башка и отчвалый умно гадили начальству, а благой глупо: например, вдруг захохочет учителю в лицо и покажет ему кукиш; вздерут благого, а через несколько времени он опять выкинет какую-нибудь глупую дерзость. Но никто из отпетых так не солил начальство, как Гороблагодатский. Если вымазали эконому двери нестерпимой *размазней* (жидкая гречневая каша), нелюбимому учителю вшей (*1) напустили в шубу, свиные инспектора переломали ноги или оторвали хвост, обокрали погреб смотрителя, выбили ночью целый ряд стекол – все это были дела Гороблагодатского, который смело вел за собою на пакость начальству благих и отчвалых. Когда требовалось устроить стачку против начальства, то опять коноводом был Гороблагодатский: под его влиянием отпетые настраивали недавно сеченных и вообще недовольных; эти волнуют весь класс, самые смиренные и кроткие начинают шуметь и грозить, товарищество возбуждено – и зреет бурсацкий скандал, который на местном языке называется *бунтом*. Протестанты наперед знают, что они ничего не добьются от начальства: если, например, их кормили *убоиной*, похожей на падаль, то они уверены, что и после возмущения будут есть ту же убоину; но они по крайней мере гнев сорвут, а там пори себе десятого.

Гороблагодатскому, как отпетому, часто доставалось от начальства; в продолжение семи лет он был сечен раз триста и бесконечное число раз подвергался другим разнообразным наказаниям бурсы; но, во всяком случае, должно сказать, что его все-таки мало секли: за его разные проделки ему следовало бы подвергнуться наказаниям по крайней мере в пять раз больше, но он был ловок и хитер. В бурсе отпетыми было изобретено много способов, чтобы надуть начальство. Особенно замечателен был прием под названием – *пустить вкруговую*. Например, отнимут табакерку у А.; А. говорит, что она не его, а В.; В. ссылается на Д., Д. на А., А. опять на В. – вот и круговая: разыщите, чья табакерка. В круговую вводилось человек тридцать, и тогда сам Соломон не разберет, кого следует выпороть. При бунтах всегда прибегали к круговой. «Ты зачем кричал во время класса?» – «Меня научил такой-то». – «А ты зачем?». Тот ссылается на другого, и пошла коловоротница, в которой сам черт ногу сломит. Надуть товарищество считалось преступлением, надуть начальство – подвигом и добродетелью. Случалось, что секли не того, кого следует, но наказываемый редко выдавал виноватого. Добровольное сознание в проступке ученики признавали за пошлость и

трусость; напротив, кто больше и наглее лгал перед начальником, бессовестно запирался, путал дело мастерски, божился и клялся на чем свет стоит, тот высоко стоял в глазах бурсацкой общины. Но и в этом отношении Гороблагодатский стоял выше всех; после долгой практики в скандалах разного рода он приобрел навык в самом изворотливом запирательстве. Другие только не сознавались в проступке, а он с самоуверенной дерзостью, глядя прямо в глаза начальнику, огрызался, и в то время такая оскорбленная невинность была написана на его лице, что опытный физиономист и психолог сбился бы с толку. Он входил до того в роль невинного, что сам считал себя невинным и под лозами никогда не сознавался. Все, что исходило от начальства, он презирал и ставил ни во что; поэтому розги, оплеухи, лишения обеда, стоянье на коленях, земные поклоны и т.п. для него положительно не имели никакого морального значения. Наказание было до такой степени дело не позорное, лишенное смыслу и полное только боли и крику, что Гороблагодатский, сеченный публично в столовой, пред лицом пятисот человек, не только не стеснялся сряду же после порки явиться перед товарищами, но даже похвалялся перед ними. Полное бесстыдство пред начальнической розгой создало местную поговорку: *не репу сеют, а секут только*. Да чего лучше: секундатор, товарищ, секущий своих товарищей, уважаем и любим был ими, потому что и он служил в их видах: искусный в своем деле, он сильно драл своих товарищей, и свистели лозы по воздуху, когда под ними лежала добрая голова. Гороблагодатского много секли; случалось ему вкушать даже до ста ударов, и потому он переносил розги легче, нежели его товарищи, вследствие чего с абсолютным презрением относился к какому бы то ни было наказанию. Ставили его коленями на покатою доске парты, на выдающееся ребро ее, заставляли в двух шубах волчьих делать до двухсот земных поклонов, приговаривали держать в поднятой руке, не опуская ее, тяжелый камень по получасу и более (нечего сказать, изобретательно было начальство), жарили его линейкой по ладони, били по щекам, посыпали сеченное тело солью (верьте, что это факты) – все он переносил спартански: лицо его делалось после наказания свирепо и дико, а на душе копилась ненависть к начальству. Мы видели в Гороблагодатском переносчивость физической боли, когда Тавля задавал ему с пылу горячих.

Но кража, сплетня, порча чужих вещей и всякая гадость не считались пороками только относительно начальства, а в себе самом товарищество было честно, и с этой стороны Гороблагодатский является в новом свете. Он не взял ни одной взятки, беспристрастно и справедливо отмечал подавдиторным баллы, не куражился над ними, часто защищал слабосильных, любил вмешиваться в ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо решал их; он постоянно солил ростовщикам и взяточникам. Товарищество его любило и уважало.

Мы сказали, что Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю за его гнусную натуру; но он с ним играет в камешки: ему хочется выиграть и помучить Тавлю.

Кончив щипчики, Тавля предложил лукаво:

– Не хочешь ли еще?

Тавля отлично играл в камешки и надеялся на себя.

– Давай! – упорно отвечал Гороблагодатский.

Камни опять защелкали.

Семенов издала наблюдал за игроками. Семенов был третий тип училищный, созданный тою же бурсацкою администрацией. Товарищество сегодня огласило

его *фискалом*.

Начальство понимало, что через свое педагогическое устройство бурсы оно не достигло цели, но вместо того, чтобы отказаться от училищных порядков, оно пошло по пути нелепостей далее. Явилось новое должностное лицо – фискал, который тайно сообщал начальству все, что делалось в товариществе. Понятно, какую ненависть питали ученики к наушнику; и действительно, требовался громадный запас подлости, чтобы решиться на фискальство. Способные и прилежные ученики не наушничали никогда, они и без того занимали видное место в списке; тайными доносчиками всегда были люди бездарные и подловатенькие трусы; за низкую послугу начальство переводило их из класса в класс, как дельных учеников. Но мы сказали, что товарищество само в себе было честно и потому не уважало тех учеников, которые за взятку начальнику, по родственным связям, по протекции, а тем более за фискальство, занимали не свое место в списке. Кроме того, ученики вполне справедливо были уверены, что наушник переносил не только то, что в самом деле было в товариществе, но и клеветал на них, потому что фискал должен был всячески доказать свое усердие к начальству. Но когда он передавал инспектору или смотрителю даже правду, и тогда он возбуждал в классе ненависть и злобу: например, дети собираются устроить попойку, оторвать хвост экономической свинье, улизнуть к знакомой прачке или чем иным развлечься, и вдруг инспектор, предупрежденный заранее, вместо развлечения драл их не на живот, а на смерть. Правда, в большинстве случаев, при непобедимом упорстве бурсаков, доносы не вели к наказанию, но начальство из доносов все-таки умело сделать полезное для себя употребление. Как объяснить, отчего инспектор за одинаковое преступление двоих учеников наказывал неодинаково? Это большею частью объяснялось тем, что на ученика сильно наказанного были доносы через фискалов. Начальство особенно не терпело тех лиц, которые ненавидели и преследовали наушников. Вся ябеда, добытая через наушников, вносилась в *черную книгу*. Эта книга имела огромное значение при переводе из класса в класс; тогда многим неожиданно вручались *волчьи паспорты*: это те же титулки, только с отметкою в них о дурном поведении; такие титулки объяснялись единственно черною книгою.

Семенов чувствовал, но страшно верить ему было, что товарищество догадалось, что он фискал. Он ясно заметил, что с ним никто не хочет слова сказать, а первой мерой против наушника было *молчание*: целый класс, а иногда все училище соглашалось не говорить ни слова, исключая брани, с фискалом. Положение ужасное: жить целые недели среди живых людей и не услышать ни одного приветливого звука, видеть на всех лицах отталкивающее презрение и отвращение, вполне быть уверену, что никто ни в чем не поможет, а напротив – с радостью сделает зло... И действительно, фискал становится в товариществе вне покровительства всяких законов: на него клеветали, подводили под наказания, крали и ломали его вещи, рвали одежду и книги, били его и мучили. Иное поведение относительно фискала считалось *бесчестным*.

Но начальство все-таки напрасно развратило навеки несколько десятков человек, сделав из них наушников: училищная жизнь развивалась в своих нелепых формах, и товарищество делало что хотело.

Семенов, смотря на играющих в камешки, злорадно усмехнулся.

– С пылу горячие! – закричал Гороблагодатский.